

Сергей Рядченко

Безумцы

(Опыт постижения)

Спор зашел о добре и зле.

На шестнадцатом этаже в общежитии на Галушкина.

Чтоб не просто так водку жрать.

А наемни генсек преставился, уж второй за пятнадцать месяцев. Так что было о чем послушать. И других, и себя любимых. Ну, февраль он вообще такой, склонен вьюгами за окном придавать уюты застолям. Слово за слово, челом по столу, и извлекся вдруг этот опус из стола одного из нас. Жил в столе, никого не трогал. Ну а тут ко двору пришелся. И сыскалась воля собрания его слушать много часов под закуску и смачность курева. Дело давнее, а запомнился.

В том рассказе, простом как жопа, проходила людская жизнь обитателей Солнцедара. Проходила весьма подробно, потому как иначе как же. Пробуждались все солнцедарцы ни свет ни заря по гудку для всех с Комбината. Это Он гудел для побудки, потому гудел полчаса. На будильник не надо тратиться. После этого со столбов из динамиков всем зарядка. Выходи, не ленись, на улицу и со всеми тут приседай, прогибайся и бей поклоны, и на месте дружно беги, а потом перейди на шаг, а потом к процедурам водным. Процедура на всех одна и простая, как кодекс жизни: сигануть со всеми в речушку, именуемую Широкой, переплыть туда и обратно в толкотне и общем азарте, можешь вплавь, а можешь пешком, лишь бы вымокнуть, как другие, разотрись и бегом домой. Быстрый завтрак и на работу. Вот как раз и гудок опять. И когда он, второй, умолкнет, все уже по своим местам. Тунеядцев нет в Солнцедаре: дети в школе с учителями, а при школе и детский сад под надзором Клавдии Львовны, у которой не забалуешь, и кует она

кадры школе, ну а школа дальше кует; остальные на Комбинате. Комбинат всем как мать родная, даже лучше, если подумать, если вдуматься и не ныть. Ну а ныть тут и не получится, ну а ныть тут попросту некогда, да и нечего, если вдуматься, если вдуматься и не ныть. Не сыскать в Солнцедаре нытика, и откуда ему тут взяться: из динамиков со столбов целый день в подспорье трудам, во славу их, раздаются марши и песни, и один марш другого бравурнее, а все песни – энтузиастов; и несутся слова их бодрые, и несутся медные звуки над домами и головами, над собаками и над птицами, над лесами и над полями, и над плесом речки Широкая, проникают в сердца и головы, и бушует в сердцах-головах восторг. И работа, конечно, спорится, и никто ни о чем не спорит, а о чем тут, скажите, спорить, если спорится все само.

В Солнцедаре транспорта нету. Потому что тут все удобно. Все тут близко. Все под рукой. Ну вот разве кинотеатр на отшибе в лесу построен, так не просто ж, а для здоровья. В выходные туда верст двадцать, но зато без гака, все честно. Ну а в будни туда не ходят, в будни сам он себе закрыт.

В Солнцедаре есть зоопарк. Но зверей в зоопарке нету. Но зато на клетках таблички, буквы крупные, шрифт понятный. Много тут диковинок всяких. Скот Ватусси. Конь Ворошилова. Патагонская Мара. Вомбат Батяня. Приходи, читай и дивись хоть до самого до закрытия. А зверей обещают к маю.

В Солнцедаре нет магазинов. И они тебе ни к чему. Потому что любой твой спрос Комбинат удовлетворяет адекватно твоим трудам и трудам твоего семейства – от продуктов до ширпотреба, от колбас до садовых соток, но числом не более трех, от фарфоровых пастушков со свирельками и пастушками, от носков с чулками, трусов и бюстгалтеров всех размеров, включая пятый, до консервов в томатном соусе и, конечно, печень трески, и бельдюга, и прости-пома. С дефицитом любым покончено. Мебель, правда, однотипична, но зато вместительна, и не сдвинуть, воротившись вечером с Комбината, ее двигать ни времени нет, ни сил, куда раз поставили шкаф с комодом, там они и стоят незыблемо до победы светлого завтра, а пока оно за горами, в Солнцедаре у каждой семьи в тех шкафах по скелету, а то и больше, и бывает, что выпадают, и тогда их кидают в речку, и Широкая их выносит в океан, поминай как

звали, и в семье в этот вечер праздник до утра под покровом ночи, свечи жгут и дымят кадилом, а наутро опять гудок. Тут нам сноска дана к скелету: Every family has a skeleton in the cupboard. И поскольку сноска на чужестранном, то для нас тут к ней перевод в духе жителей Солнцедара, что, мол, так, читатель, у всякой избушки, не взыщи, свои погрешности, а читатель себе и рад, с дорогой душой не взыскует, а взыскал бы, так был не рад бы.

В Солнцедаре одна газета, называется «Солнцедар». Ее каждый день доставляют и запихивают вам в ящик и при этом стучат вам в дверь. В Солнцедаре есть почтальон, почтальоном он тут в охотку, потому как давно немолод, а сидеть на печке не хочет. Все зовут его дядя Вова, он себя под Ленина мыслит, носит кепку, усы с бородкой, а под кепкой лыс как колено, а в глазах прищур с добротой; с толстой сумкой он на ремне, башмаки для него бесплатно, и еще Комбинат ему выдал лично плащ-палатку для непогоды, а еще ему разрешают на больших торжествах народных, что проходят два раза в год, подниматься к нам на трибуну и толкать по бумажке речь о победе добра над злом; и ему кричат: «Дядя Вова! Так им! Врежь им! Давай, дядя Вова! Покажи им кузькину мать!» – от чего дядя Вова плачет и поет «Интернационал». Дяде Вова живется сладко, умирать ему нет причин. А в газете, что он разносит, все, что нужно для солнцедарца. Там на первых трех полосах повторение – мать учения: куда движемся и зачем, каковы великие цели, кто вожди нам и их предтечи, изучай их чистые помыслы и деяния без изъянов, без сомнений и отступлений, а бесстрашно, только вперед, изучай и запоминай, назубок выучивай, падла, и хотя на них походить, возжелай от них одобрения, одобрения даждь нам днесь, а не то собьешься с пути, подведешь друзей и товарищей, захандришь и, конечно, сгинешь, так что, видишь, нету причин не читать тут каждое слово, а как раз же наоборот, мотивирован ты, товарищ, мотивирован на всю голову, чтобы каждое и прочесть да и слиться с ним в обалдении от грядущего благоденствия в благодарности нам за все; а не то, а не то, а не то, а не то... Ты учи, а мы завтра спросим.

На четвертой там полосе были юмор, не хуже этого, полуности и кроссворд. И в обеденный перерыв на родном своем Комбинате солнцедарцы кроссворд решали, разбиваясь на сотни

групп, и тут страсти у них бурлили, сублимируя все на свете, тут немало вскричалось эврик, но ни разу у них не вышло дорешать кроссворд до конца; оставались пустые клетки, и из них сюда к солнцедарцам пустота иная сквозила, от нее холодком из склепа проступала жуткая тайна бытия их и мироздания, до которой не дотянуться, от которой не увернуться. И они спешили к работе, чтоб уйти в нее с головой, в упоении, и забыться. А назавтра новый кроссворд. Солнцедарцам живется плотно, в будоражном шаманском ритме, под невидимый гулкий бубен, коллективно и трансцендентно. У них нет причин умирать.

В Солнцедаре кладбища нету. Потому тут не умирают. Хоть философы жарко спорят, где тут следствие, где причина. В Солнцедаре не умирают, потому что погоста нет? Или тута его и нет, потому что не умирают? Вот, поди ж, где яйцо, где курица? Там первичность на свет явления под вопросом вечным стоит. Ну а тут вот никто не мре, и поди отыщи причину. Мне все видится много проще с высоты моего обзора, и дебаты умных философов для меня-то как раз не стóят как раз выеденного яйца. Не пришлось каламбур избегнуть, без яйца обойтись не вышло. Мне, Директору Комбината, знатоку своих чело­веков, обитателей Солнцедара, просто ясно как Божий день, что причина одна и только, поелику некуда в землю тут, потому они и не мрут. Ну мы ж знаем, чего тут мямлить, что живая в нас с вами клетка, в миллиардных своих когортах составляя нам организм, знать не знает, слыхом не слышала, про конец, так скажем, стези у жизни. Ей такое и невдомек. Она знает только про жизнь, про деленье и размноженье, про любовь и преумноженье, и готова жить бесконечно. Для того она и живет. И жила бы себе и дальше, если б ум ее не замучивал, мол, пора, дорогая, и честь знать, мол, пора уже закругляться, папа ж с мамой уже того, и друзья их тоже с соседями, и все прежние мудрецы, где? ан нет, покати шаром, и Сократ с Платоном, и Будда, вот и нам уже час поспел. Вот такой он, братцы, зануда, этот самый ум чело­веков, этот самый их ум ума. Уболтает кого угодно. Занудит любого до смерти. И не денешься ж никуда. Ну, кто как, а мы денемся, раз смекнули. Из-под ига ума надо выползти, надо вы­браться из-под ига, надо вырваться и воспрять! Вот в чем фокус весь, дорогие. И живи тогда, сколько хочешь. Заодно со своими клетками и на радость себе и им же.

Я живу уже лет семьсот, точной цифры не назову, чтоб не сглазили, дорогие. Любо нам так жить-поживать и добра себе наживать, мне и двум моим паладинам, что при мне тут из века в век. Нынче Половец в референтах, а Хазар моим первым замом; ну а прежде звались по-всякому, столько всякого тут прошло. Любо хаживать нам в державных, приносить державе ясак, в переносном, конечно, смысле; по привычке любой доход между нами ясак зовется с уважением к временам, нами прожитым, в Лету канувшим. Да, по сердцу нам поживать, и пока что не надоело, и не ведома нам усталость.

На том месте, где Солнцедар, при Иване Четвертом Васильевиче оборудовали острог и назвали его Ясацким. А река была широка, в половодье до горизонта заливала весь левый берег. Замирили мы остяков, хантов, кетов, югов, селькупов, и пошла к нам рекой пушнина. Царь Иван был зело доволен. А потом на Москве затеялась смута. Мы, державы оплот, как могли твердились, воевали и торговали, положили уйму туземцев, устоял Ясацкий острог. Прилетели к нам анунаки – вам подробности ни к чему, – научили нас уму-разуму, показали нам, где копать, и нашли золотую жилу, наше первое золотишко, разработали всю как есть. Добывали и колчедан под надзором у анунаков, молибденовый и магнитный, пестро-медный и мышьяковый – чисто невидаль по тем временам. Анунаки премного довольны нами, а остяки, завидев, падали ниц. На Москве сел царь Михаил Романов, и заглохла смута там наконец; анунаки тогда откланялись, а туземцы свели с нами дружбу заново, и острог разросся в селение и назвался Царемихайловск. А потом сменил сто имен. Петроводском сначала был и довырос до городишка, Александровском-на-Широкой, Николаевском-на-Широкой, а потом Николаевоалександровск, вырос в город он настоящий, а потом уже Каганович, и потом надолго Лавроберийск. При Хрущеве стал Солнцедаром и уже имен не менял. Но еще при Лавроберийске нам велели, мне с паладинами, возвести тут наш Комбинат. Ну и мы уже приложились. Не пропала наука даром от забытых тут анунаков, кто их помнил, давно в земле; поколений сменилось много. Нам такое, понятно, на руку. И вошли мы к власть держащим в небывалый прежде фавор.

Навели мы с Хазаром с Половцем в Солнцедаре новый порядок. Старых жителей разогнали по Норильскам и Колымам, а сюда заказали новых по анкетам славным с Лубянки, самых лучших из самых лучших, молодых, здоровых, голодных, и они сюда скоро прибыли по путевкам от Комсомола, да отсюда уже не убыли, аж пока Комбинат не встал; провели тут годков пятнадцать, поженились, поразвелись и опять все переженились, нарожали кучу детишек, поседели да польсели, у кого-то и зубы выпали, ну а кое-кто и преставился, отошел в мир иной от трудов завзятых, переполнившись вдохновением возведения новой жизни; но не все ж Богу душу отдали, уцелел вполне каждый третий и вполне себе жив-здоров. Возвели Комбинат на славу. Прежде мир таких не знал. Не узнал и на этот раз. Солнцедар со всех карт исчез. Стал особым он и секретным. Стал он ящиком номерным. Он теперь Солнцедар-700. И зажил небывалой жизнью. И строителей распустили, всех – семейных, вдовцов и вдовушек, и детишек всех, кто не помер, – распихали по стройкам века, по Амуро-Байкалам, Саянам с Шушенском, по Востокам Дальним и по Монголиям, или просто пораспихали, СССР держа бескрайняя, а почтовый ящик за номером заселили новым составом по анкетам с той же Лубянки, контингентом, что либо-дорого, для того, чтоб наш Комбинат заработал на полном цикле, овладел бы мощью проектной и работал отныне впредь, эту мощность превозмогая.

В Солнцедаре много поэтов, живописцев, зодчих, ваятелей, много плотников и сапожников, и часовых дел мастеров, с часовыми не надо путать, те повсюду тут на дверях; математиков в Солнцедаре тоже столько, что знать не надо; много химиков органических, ну а также неорганических, много физиков-теоретиков и, конечно, не меньше практиков, тех, что ставят эксперименты и умеют чинить утюг; астрофизиков с телескопами и механиков, тех, что с квантами, с ними возятся не навозятся, и грозят нам антимирами, и грозятся все объяснить; и немало других механиков, те умеют взять в руки вещь и заставить ее работать; много физиков твердых тел, много физиков жидких тел, и еще есть физики плазмы, потому шаровые молнии в Солнцедаре дело обычное, так и шастают, не зевая; инженеров у нас

не счесть, инженер тут на инженере, много главных, но есть и просто, на любые случаи жизни.

В Солнцедаре-700 военные у Директора в подчинении; каждый знает, что надо делать, и в доме с женой, и с песней в строю, и на Полигоне, только формы нигде не носят, а одеты в комбинезоны, на нагрудном кармане звание ниткой вышито цвета хаки очень мелкой арабской вязью, чтоб с орбиты, случись, со спутника, ни в бинокль из кустов, ни в лупу, разобрать враги б не сумели. В Солнцедаре много разведчиков, только все они контрразведчики, бдят всегда, никогда не спят, и комар чужой не летает. Пограничники тоже тут, контрразведчикам в усиление, все с собаками и в секретах; до того с ландшафтом сливаются, что, бывает, на них наступишь, потому, чтоб без канители, солнцедарцы и солнцедарки завсегда при исправных ксивах и с кусочком всегда колбаски, и проверка долго не занимает. Все ать-два! Все тикает как часы.

Но при всем при этом, сукины дети, эти новые солнцедарцы, попервах все ж как мухи мерли от избытка о них заботы, от накала тех вдохновений, что дарил им радостный труд. И с Лубянки нам слали новых, но и те за теми туда же. Надоела такая мне канитель, и Хазару с Половцем тоже. Сколько ж можно анкеты перелопачивать, выбирать сюда нам достойных. Никаких достойных не хватит. Вот тогда я и срыл им кладбище. Разрослось уже дальше некуда. Но бульдозеров у меня! Разровняли все любо-дорого, будто не было ничего, с глаз долой и из сердца вон, и из памяти тоже прочь. И разбили парк там, побольше, чем в тех Европах. И построили зоопарк там и стадион. Для лапты всем и для здоровья. Ну и всё, как рукой сняло. Прекратили враз мои солнцедарцы покидать сей мир в угоду иному. Канитель с анкетами в Лету канула. Заработали с новым энтузиазмом. Испытатель только разбился в праздник на открытии парка со стадионом. Мы ему обелиск поставили и зажгли там огонь ему, и горит он с тех пор тихонечко, много газу не потребляет, сорок лет уже вот горит. А вы скажете, как же так, ведь огонь положено неизвестным и к тому же в могилах братских, ну а тут же совсем не так? Вам отвечу, как понимаю. А кто правила задает? Тут такие, как я скажу. Но идейку вы мне подкинули. Надо будет сменить табличку на другую, вот на та-

кую: «Неизвестному испытателю». Хорошо, душевно получится. И забудут скоро, как звали. Тут давно летает другой...

На шестнадцатом этаже в общежитии на Галушкина у собрания вздох восторга. Тут и «Боинг» корейский вспомнился, сбитый за год над Сахалином, и уж к месту или не к месту, в нем погибший Ларри Макдональд, демократ, в президенты метивший, ненавидевший коммунизм. Шумно выпили. Покивали. С пониманием обо всем.

– Это в точку, старик! Что дальше? Что еще ты там напридумал?

...Комбинат на то он и Комбинат, чтоб служить сразу многим целям. Производит он транспаранты для по всей стране демонстраций на Седьмое и Первوماй. Пишет лозунги по сто метров на трепещущих кумачах для по всей стране стадионов и для всяких спартакиад, и для всяких чемпионатов, и для всяких Игр Доброй Воли; для Недоброй Воли не пишет, но напишет, если прикажут. Комбинат производит портреты без изъянов и искажений, много разных таких портретов, идеальных и одномерных, для ЦК и Политбюро. И еще Комбинат штампует живописнейшие полотна по размеру три на четыре, семь на восемь и восемь на семь, на которых огромный Вождь в ключевых моментах победы большевизма над меньшевизмом, пролетариев над буржуем, Революции над людьми. И полотна эти красуются на вокзалах в огромных залах, по фойе, в буфетах кинотеатров, по курортам и санаториям, лагерям и пансионатам, по домам культуры от Балтики и до Тихого.

Комбинат производит скульптуру, и статуиную в полный рост, и упрямо-белыми бюстами. Бюсты самых разных размеров: от такого, что в рюкзаке довезешь в любой стройотряд, хоть в тайгу, хоть на полюсе, хоть в пустыне, чтобы в красном ему уголке белеть, помогать в трудах вам и душу греть, да с таким взойдешь и на Эверест, если партия скажет «Надо!», до таких размеров, что и «КамАЗ» может сразу с таким не справиться, скажут «Надо!», так сразу справится. А скульптуры в пальто и кепках, а другие без кепки и без пальто, а рука протянута к коммунизму, указывает нам верный путь, и захочешь, а не заблудишься. Комбинат производит в бронзе, в чугуне, в граните и в мраморе, в серебрине

и с позолотой, великанами их возводит и обычными в три аршина, и скульптуры эти повсюду, в городах и весях, на полустанках, на больших и маленьких площадях, на пригорках при деревеньках, да в степях по старым курганам, на вокзалах в огромных залах, в институтах по вестибюлям и в гостиницах при фойе, и в буфетах кинотеатров, по курортам и санаториям, по колониям исправительным, в лагерях и пансионатах, по домам культуры и отдыха от Балтийского и до Тихого.

Много zelo довольны нами старцы древние из Кремля.

Мы, конечно, делаем бомбу. А художества наши славные, транспаранты, статуи, бюсты, лозунги, и еще в продукции нашей ширпотреб и всякая утварь, сапоги из кирзы и хромовой кожи, мясорубки и сковородки, дуршлаг и картофелечистки, это прежде всего затем, чтобы тайну блюсти военную стратегического значения. В Комбинате двадцать два цеха. Девятнадцать для маскировки. А вот в трех, под землю запрятанных, день и ночь мы делаем бомбу и носители к ней мы делаем для доставки по назначению. Мы такую делаем бомбу, чтобы ею как шандарахнуть, и второй раз уже не надо. Мы зовем ее «Солнцедар»...

– Ну, старик! – хохочет собрание. – Положил на обе лопатки. Солнцедар это просто *бомба*! Тут Малыш с Толстяком в сторонке покурят.* «Ярче тысячи солнц» сюда же!

Все ж читали Роберта Юнга?

...В Солнцедаре есть строгий юноша по фамилии Одинцов. Николай Одинцов. Встречайте! Образец он для подражания. Ворошиловский он стрелок, альпинист, комсомолец, физик, шахматист и парашютист, капитан чемпионов наших по великой игре в лапту; а в лапте, как сказал Куприн, ни лентяям, ни трусам в ней места нет. Одинцов ученик Абалкина; не Абалкина от Стругацких, – и не путайте с Абалаковым, от которого нам рюкзак, – а Абалкина во плоти, легендарного и державного, о котором никто не слыхивал, кроме тех, кто по долгу службы, но они никому

* «Little Boy» («Малыш») – бомба, сброшенная 6 августа 1945 года на Хиросиму.
«Fat Man» («Толстяк») – бомба, сброшенная 9 августа 1945 года на Нагасаки.

не скажут, по подписке о том, что если, то расстрел, а потом тюрьма. Вот такой у нас Одинцов. Самого Абалкина видел.

Строгий юноша посещает каждый вечер библиотеку и читает там до закрытия, и пометки в блокнот заносит: переписывает цитаты, чтобы вызубрить без огрехов, и свои к ним соображения, чтобы тоже не позабыть. А в работе на Комбинате строгий юноша тоже в первых; глубоко под землей с коллегами, всех собой воодушевляя, в свете ламп среди проводов, чертежей, и собранных, и разобранных, агрегатов и механизмов, прилагает он все усилия, от гудка до гудка, до донышка, все умения, знания, навыки, чтобы вынуть из ноосферы, из неяви выудить в явь, пользы максимум нашей бомбе, чтобы сделать бомбу такой, каких прежде никто не делал, а вот мы возьмем да и сделаем, будем первыми с нашей бомбой для победы Добра над Злом.

Одинцова все уважают, под землей, на земле и в небе, где бывает он с парашютом, на вершинах, куда восходит, на собраниях комсомольцев; и в застольях он тамада.

И вот надо ж тому случиться в отработанном обиходе, чтобы в тихой библиотеке, среди книжек под потолок, аж под самые своды гулкие, где задумчивость да покой, и душа стремится к высокому, а ум следом за нею в мудрость, Одинцов повстречал любовь, да такую, что гаснут свечи, ни тебе продохнуть, ни крикнуть; роковой такую зовут. Вот вы спросите, как же так? Почему такую, а не иную, раз такой он весь из себя? Вам отвечу, как понимаю. У судьбы для нас много каверз, всяких штук нам против шерсти, а порядок наш образцовый, тот, что мы с Хазаром и Половцем навели в своем Солнцедаре всем на зависть – он всем на зависть! Вот и тщатся его порушить, облапошить нас, понимаешь, да стреножить, да указать нам на место, что поскромнее, чтобы впредь мы не заносились, прекратили б воображать о себе чего им не надо, а смирились бы с тем, что надо, им так надо, а нам терпи. На таких, спрошу, нарвались ли? Так отвечу – не на таких! Мы тут сами кого тут хошь! Нам к их козням не привыкать, тех, кто прячется за судьбою. Фатум фатуму глаз не выклюет. Вам сейчас не понять такого. Потому изъяснюсь попроче: как напасть на нас взобралась, так и слезет, вариантов нету. Все ж ну точно как у Роома, по сценарию Юрий-Карлыча; вот Олеша уж

напридумывал. А расхлебывать Одинцову. Да и прочим, кого касается. Хоть семьсот лет живи, хоть тыщу, а все без толку, если что. Приступай, понимаешь, заново и руби с плеча до седла.

Одинцова любовь звали Машенькой, так она ему назвалась при знакомстве в библиотеке. Так она ему и сказала:

– Машенька.

– А меня Николаем, – ответил он.

Ну и кто тут с кем познакомился? Вот, выходит, не он с ней, а с ним она. Приглянулся ей строгий юноша, покорила ее мраморно-римским видом и футболкой, шнурованной на груди. Для начала Машенька Николая старше лет так на девятнадцать. А еще для начала замужем. За Директором Комбината. Вот кто Машеньке тут супруг и кому она тут супруга. Так беги скорей, Коленька, пока цел. Но любовь, как мы знаем, зла, и препоны, что ей чинят, отменяет с пути бездумно, как бульдозер косым ножом. До поры, как знаем, до времени. А потом трава не расти.

Проводил он ее домой. В первый вечер и проводил. В наш с ней дом из слоновой кости; а на самом деле из мрамора наш Дворец, из стекла и стали, а на входе львы по бокам. И она его пригласила заглянуть к ней на кофеек. Ну а Коля не стал раздумывать и последовал во Дворец.

У Директора Комбината в Кабинете сто телефонов, и бывает, что все звонят, а бывает, что ни один, тишина тогда перед бурей. Вот сейчас один затрезвонил, и Директору сообщают, что в дому у них гость непрошенный, а вернее, Марья Степановна привела с собой незнакомца и в гостиной с ним кофий пьют. Личность быстро установили: Одинцов Николай Гаврилович, замконструктора генерального, физик-ядерщик, комсомолец, золотой значок ГТО. Как прикажете поступить? И Директор привычно шутит:

– Так убейте сукина сына!

И ребята смеются весело на другом конце этой линии; юмор им такой по нутру.

– Доложите, когда будет.

«Есть!» сказали. И доложили: ровно в двадцать один ноль-ноль. Это в рамках, пускай себе. Засиделась Машка без дела. Не рождает никто давненько. В Солнцедаре один роддом, он за номером «единица», потому что ну не второй же. Тут супруга Ди-

ректора главврачом, гинекологом, акушеркой; в персонале две медсестры, санитарка и часовой, тот сменяется по часам. И одна в роддоме палата, все уютно, на восемь коек. Не бывало тесно и прежде, а теперь так и вовсе пусто. Перестали пока рожать. Социологи и психологи с докторами и особистами из Москвы над этим работают; обещают, что в скором времени разъяснят нам такую недолгу. А пока что Мария Степановна заскучала тихенько, стало быть. И Директор по-здравому рассудил, что такое в рамках вполне приличия, что беседа супруги с его работником в неурочный вечерний час никому не сделает плохо, а всем сделает хорошо. Да к тому же все под контролем. Да к тому же не до того. Бомбу надо! А прочее глупости.

Но опять в его Кабинете телефон из Дворца трезвонит, и опять уже поздний вечер, и опять Одинцов в дому; угощается он в гостиной и беседует с нашей Машей; и на этот раз он откланялся уже в двадцать один ноль-пять. Но опять же все это в рамках. И опять же все под контролем. Нет причин ерундой страдать. Надо бомбу, бомбу давай!

И Директор с Хазаром и Половцем дают бомбу как только могут. Остальные как получается. День и ночь работа кипит.

Каждый вечер теперь в Кабинете у Директора Комбината телефон из Дворца трезвонит, как по новому расписанию. Зачастил Николай Одинцов во Дворец к супруге Директора; каждый вечер он с ней проводит за беседой в большой гостиной и гуляет с ней у фонтана в освещении фонарей, и сидят они на веранде, выходящей в цветущий сад, наблюдают Луну и звезды, и стихи Николай читает, и не все про ударный труд, попадаютсся и другие, про родство одиноких душ и про тайну предназначенья; Одинцов покидает Машу, к ней склонившись, целует руку, из Дворца меж львов по ступеням сходит, всякий раз на пять минут позже, чем простились они вчера.

И доклад Директору точен: нынче двадцать один вот десять, завтра двадцать один пятнадцать, а назавтра и двадцать, и двадцать пять, вот уже в половину лишь смог откланяться строгий юноша, а потом точный час расставаний с Машей продвигаться стал к десяти, и за каждый вечер по пять минут в шесть присестов туда добрался.

– Он ушел в двадцать два ноль-ноль, – в этот вечер звучит из трубки.

– Хорошо, спасибо. А протокол? Изменений не наблюдаем?

– Никак нет, товарищ Директор! Кофе, фрукты, беседа о Древнем Риме.

– А вчера о чем?

– И вчера о нем же.

– А бывает, чтоб не о нем?

– Разрешите, мигом справлюсь в журнале.

– Да не надо, майор. Отбой.

И Директор с Хазаром с Половцем, освежив себя коньяком и отринув второстепенное, воротились к первостепенному: вдохновлять ночной персонал на праведные труды во имя победы Добра над Злом, ибо сроки перед Сражением, Окончательным и Решительным, не на жизнь, а на смерть, истекают уже не по дням, а, смотрите вот, по часам, уложиться в них надо, чего б ни стоило. Уложиться надо, кровь из носу. Даешь бомбу, ребята! Бомбу даешь!

Говорит Одинцову Директор утром:

– Как тебя там, не обижают у меня в доме, Николай Гаврилович, наша общая, брат, знакомая? Это, Коля, моя супруга. Знал? Не знал? Ну теперь вот знаешь. Ты держись, брат. Не пристаешь?

Одинцов Николай краснеет и бормочет «ну что вы, право!», ну и дальше скороговоркой он про то, что свели их книги там, где тишь да покой с порядком, это значит в библиотеке, Николая с Марьей Степановной, совершенно, знаете, случайно, и возник меж них разговор про Розеттский, случайно, камень, про Египет с Наполеоном, про династию Птолемеев и того из них Птолемея, что был Пятым и Епифаном, и про то, как смог Шампольон разгадать вековую загадку, и пошло одно за другое, и беседуют до сих пор, знаний много, времени мало, каждый вечер ведут беседы о высоком и о прекрасном, находя в том пищу уму и сердцу. Вот такая вот диспозиция, и другого тут ничего.

Говорит Одинцову Директор:

– Диспозиция хоть куда! Ты же, Коля, тоже Машку пойми. Извелась без дела в роддоме. Не рожают нынче народ. Ты беседуй уж с ней на совесть. Не отлынивай, раз уж зван.

Одинцов его заверяет, что: как можно? почтет за честь.

Одинцову Директор дает совет:

– Приоткрою тебе, Николай Гаврилыч, небольшой семейный секретец. Только ты уж меня не сдай. Тут такое, видишь ли, дело. Как, бывает, найдет на Машку, она балуется стишками. Да, представь, стихата строчит. Чушь собачья, ты мне поверь. Хоть и в рифму, а чушь собачья. Не открылась еще тебе? Вот, как, значит, дойдет до этого, ты смотри уж, брат, ты не дрогни. ГТО пусть тебе поможет. Альпинизм и парашютизм. Надо выстоять, Коля, надо! А потом еще похвалить. И смотри, Николай, без фальши. Пусть у Машеньки будет праздник. Как у нас с тобой каждый день. Так у нас же с тобою бомба! А у Машки ж что? Шаром покати. Так что, Коленька, будь готов!

Одинцов отвечает:

– Всегда готов!

И стремглав под землю, и за работу.

Говорит Директор Хазару с Половцем:

– Строгий юноша с душой нежной.

И еще он им говорит:

– Я его подкузьмил, видали? Невдомек ему даже, на что наварлся. Как обрушит ему на голову Машка кашу из дохлых рифм, то как ветром юношу сдует. Будь он строгий или не строгий. Это выше сил человеческих. Только Машка его и видела. Вот такая нам диспозиция. Так и что же это выходит? Что я все же приревновал? Свою Марию к молокососу? Хоть семьсот лет живи, хоть сколько. Не пристало мужам достойным. Вы за мною не повторяйте. По рюмахе и за работу. Хазар! Половец! Разом вздрогнем! Даешь бомбу! Бомбу даешь!

И давали мы, и давали. Все неважное в тень ушло; по углам заныкалось да под плинтусы.

У Директора в Кабинете телефон из Дворца звонит каждый вечер по расписанию, каждый раз на пять минут позже. И сказали в трубку в какой-то вечер:

– Он ушел в двадцать три ноль-ноль.

– Изменения в протоколе?

– Никак нет, товарищ Директор! Только он говорит все больше, а она все больше молчит.

- О чем речь?
- О каком-то Дзене.
- Что за Дзен?
- Уже выясняем. Доложить, как только?
- Завтра доложишь. Отбой, майор.

Заглянув на часок-другой наконец к себе во Дворец, говорит супруге Директор:

- Ты читаешь ему стихи?
- Кому?
- Одинцову, милая. Одинцову.
- Ах, ему? Читаю. А что, нельзя?
- И он все еще терпит их? И он все еще в гости ходит?
- А чего ему не ходить? И чего их ему терпеть? Ему нравится.

Он к ним чуток. Он и сам их сотнями наизусть. Вот заслушаться. Ты б послушал.

- Ты читаешь свои стихи?
- Ах, об этом ты? Вот в чем дело. Нет, конечно. Читаю Фета.

А свои, ну я же не дура. Он просил, но я отказала. Да к тому же я их сожгла.

- Даже так? Когда же?
- Да прошлым летом.
- А зачем же?

- Да ни зачем. Вот не думала огорчить тебя. Как раз думала, будешь рад.

Незатейливым таким образом план Директора провалился, и стихами Марьи Степановны не повергли строгого юношу. А от Фета вреда ему никакого. Ну и как теперь с этим быть?

У Директора в Кабинете на Совете Трех Старейшин у Хазара есть предложение:

- Надо яйца ему отрезать. И сказать всем, что так и было.

А Директор он в суть глядит:

- Хорошо бы, да не годится. Без яиц какая же бомба? Без его у него яиц мы, глядишь, не поспеем к сроку.

Есть и Половцу что сказать:

- А в шуты его! А, товарищи? Совершенно официально. Комсомольское поручение. Обязать по общественной линии. Кажен вечер после работы во Дворец, как штык, не балуй, и лекторий там

вынь-положь по тематике утвержденной. И поэзию декламируй. И пляши там под балалайку, если Марье будет угодно. Вот тогда он враз и скукожится. Я нам дело тут говорю. Испокон веков обя-завка истребляет нам все, что хошь.

Вот и Половец, а случается, что подгонит совсем неглупое, по-тому что родился же не вчера.

И наутро строгого юношу по Директора директиве и нака-зу от Комсомола наделяют особым статусом, назначают лейб-лектором во Дворец. И теперь уже не отвертишься, а пожалуй как на работу, и прощай романтика с грезами, а все чаянья брысь в отчаянья. Но на то он и строгий юноша, что не дрог-нул ни мускулом, ни душой. Ничего никуда не сдвинулось, про-токол изменений не претерпел; и светили им, как и прежде, на веранду Луна и звезды, и фонтан шумел, фонари блестели, и стихи звучали, и не стихи, и придворные просвещались, уста-навливая значенья (и невольно запоминая) незнакомых слов из бесед Одинцова с Марьей Степановной; и в саду отцвели де-ревя. С педантичностью до секунды Одинцов пребывал при ней всякий раз на пять минут дольше, всякий раз на пять ми-нут больше; безошибочно как часы, покидает Дворец все поз-же, будто адский в нем механизм, о последствиях не заботясь, принуждает его щекотать судьбу и дразнить всех тиранов, больших и мелких.

Вот доклад Директору в трубку:

– Ровно в полночь Дворец покинул. И при этом громко на-свистывал.

– А мотив какой? Установлен?

– Марсельеза. Еще вот слышно.

Не ко времени это все. А бывает оно ко времени? Недосуг Директору, но пришлось оторваться от бомбы для размыш-лений. В Кабинете легла на Стол многотомная расшифровка тридцати шести их бесед, и Директор с Хазаром с Половцем погрузились на сутки в чтение и ушли в него с головой; сухо щелкали языками и губами бесшумно плямкали, и шуршали громко страницами, их друг другу передавая. Нет секретов от паладинов, а картину составят общую, и когда, дочитав, узрят, то налягут втроем, эй, ухнем! и отыщется в ней лазейка –

враг силен был, тем больше слава! – а пока что читай, товарищ, прочитал, передай другому.

Среди прочего в тех транскриптах говорит Одинцову Марья:

– А вы знаете, Николай, у вас сходство с героем фильма.

– Подтрунить хотите, Марья Степановна?

– Отнюдь, Николай, отнюдь.

– Я, признаться, заинтригован. Так в каком же это кино?

– У него и название вам под стать. Называется «Строгий юноша». Режиссера Абрама Роома.

– Я такого Абрама знаю. Я смотрел его фильм-спектакль по комедии Шеридана в постановке МХАТа «Школа злословия». Яншин там, Андровская, Кторов и Михеева, и Дурасова. Вы смотрели? Картина блеск! «Строгий юноша»? Нет, не видел. А о чем картина, Марья Степановна?

– А нам с вами сейчас неважно, Николай, о чем этот фильм. Будет повод еще, обсудим. Вечеров еще впереди! А сейчас я вам о другом. На Консовского вы похожи. Представляете? На Консовского! А совсем не на Дорлика! Уж который день я дивлюсь. Просто мистика, да и только!

– Так а в чем же, позвольте, мистика?

Тут ремарка от наблюдателей: *В этом месте он с толку сбит.*

Отвечает Марья Степановна:

– Столько тут рассказать вам, Коленька, что всего никак не расскажешь.

Тем не менее она пробует. И рассказ у нее таков. Фильм снимался в тридцать четвертом, жарким летом у моря в Одессе. Лента вся пронизана солнцем, как метафора новой жизни. А Консовский вписался в роль, будто с детства он не Консовский, а всамделишный Гриша Фокин, дискобол теперь, комсомолец, разработал моральный кодекс для таких, как он, своих сверстников, новый комплекс новой морали – в нормативы третьей ступени для всеобщего ГТО, а без этого поколению, порожденному Революцией, новой жизнью не овладеть. И почти уже все отсняли, как случилось непоправимое; вдруг нагрянул НКВД, и актера арестовали и пришили контрреволюцию. Оказалось, Дмитрий Консовский между съемкой по вечерам на прокуренной кухне среди коллег в излияниях душевных рассуждал о пользе фашизма и всю

нахваливал Гитлера, что в Германии избран канцлером по всем правилам демократии. Вот такая беда на съемках. Сперва ждут, конечно, как водится, и надеются, что ошибка, в скором времени разъяснится, и вернут Консовского в целости, и обнимутся с ним коллеги. Ждали, ждали, ждать дальше некуда. Отыскал Роом Дорлиака, тоже Дмитрия, тоже мистика, и все сцены с ним переснял. Натрудились как на галерах, только все оказалось зря. Запретили «Строгого юношу». И Роом угодил в опалу. И у всех потом неприятности, если так их можно назвать. С Дорлиаком и вовсе грустно; подхватил брюшной тиф на гастролях и скончался где-то в Иркутске. Вот такой несчастливый фильм. Но ему повезло, не смыли. И теперь, столько лет спустя, чтут шедевром. Такая сказка. Не рискуя нынче ничем, все смакуют его эстетику, новизну его формализма, глубину в нем иносказаний. Этот фильм пока не разгадан. Специалисты бьются над ним; по сей день вот ломают копыя.

– Ну а я его обожаю, – говорит Одинцову Маша. – А вы верите в Провидение?

– Нет, зачем же? Я верю в атомы, в электроны с протонами и в нейтроны. Ничего мне больше не надо. Я, простите, мистики чужд.

– А вы видели их глазами? Электроны ваши с нейтронами. Вы их, Коля, трогали пальцами?

– Ну зачем же? Есть математика. Существует эксперимент. Все доказано, дальше некуда. Вот бери себе применяй.

– Как вы молоды, Николай! Совершенно обворожительно. Не хочу вас разубеждать. Но хочу, чтобы вы взглянули.

Тут помета от наблюдателей, что с веранды она уходит и потом сюда возвращается, и приносит две фотографии.

– Вот взгляните. Разве не мистика? До чего ж вы с ними похожи. Но в особенности с одним. Угадаете, кто Консовский?

И помета от наблюдателей, что на фото актер Консовский, на другом актер Дорлиак, и что копии этих фото прилагаются тут к транскрипту с номерами один и два...

– Вот, взгляните и вы, друзья.

И собранию фото явлены, из-под ржавой скрепки изъяты. Погадают пусть, кто тут кто, под стать юноше Одинцову.

Это первым на стол легло.



А за ним легло и второе.



- Но собрание ж все киношники, на мякине не проведешь.
- Что тут думать? Это Консовский.
 - Не хитра загадка, старик.
- Фильм никто не забыл, все помнят. На сей раз не случилось прений.
- Фотография номер раз стопудово Дмитрий Консовский.
 - Ну скажи, что не угадали.
 - Стопудово! Не зря ж мы здесь.
 - А что, Коля-Колян не справится? Пальцем в небо там? Или как?
 - Так узнаем сейчас. Наливай пока.
 - Ну давай за «Строгого юношу»!
 - За кино! Не за Одинцова.
 - Ну тогда уже за Роома!
 - Пусть икнется Абрам-Матвейчу.
 - Натерпелся на этом свете.
- И закусывая, сказали:
- Ах, какую ж эстетику выстроил!
 - Ах, каким формалистом был!
 - Каких мало.
 - Теперь и вовсе.
 - Вот на нас теперь вся надежда.
 - А Консовский, кто знает, братцы, он дожил до пятидесятих?
 - Если б, если бы. Нет, конечно. В лагерях осудили заново, расстреляли в тридцать восьмом. В один год оба Дмитрия сгинули.
- Понимаем как понимаем.
- А зачем тебе фотографии? Раздобыл же, не поленился.
 - Так я вставлю, если печатать. Вот она ему предлагает, угадайте, кто тут Консовский, и читатель на пару с Колей будет там у меня гадать. Ну как вы сейчас. Только в тексте.
 - Полагаешь, не перебор?
 - Полагаю, что тютя в тютю.
 - Вышиваешь иглой цыганской?
 - Свой узор, когда получается.
 - Ну, властитель умов, погнали!

...И Директор с Хазаром с Половцем фотографии рассмотрели и поцокали языком. А в транскрипте там дальше вот что, и с пометами наблюдателей, и без них все и так понятно.

Одинцов говорит:

– Вот этот. Были правы. Жутко похож.

– А не верили. А вот видите? Да еще и себя не видите. Не похож, а одно лицо!

– Так а как же такое, Машенька?! Я тут, что ли? Или не я?

– Вот! Теперь меня понимаете? У вас тоже извилина за извилину? Вы какого, сорок девятого? Ну а тут год тридцать четвертый. Так что следует полагать, что на фото Дмитрий Консовский. А не вы там на этом фото. А вы тут его инкарнация. Вот что следует полагать.

– Ну зачем же нам в мракобесие? По науке нет инкарнаций. Да и быть никаких не может. Это бредни для слабонервных.

– Да? Наука не допускает? А годков ему тут на фото ровно столько же, сколько вам. Двадцать шесть же? Не ошибаюсь? Что на это наука скажет?

– Совпадение, Машенька, совпадение.

В Кабинете Хазар бормочет:

– Как, стервец, он ее все Машенькой!

А Директор – он в корень зрит:

– Да не в этом беда, Хазарушка. Это б все еще ничего. А вот чую, что Машка клонит все к тому, чтоб строгого юношу посвящать в сюжет киноленты под названием «Строгий юноша». Вот, признаться, бы не хотелось. А она его обожает. Запал на душу на просмотре. Сколько лет уже, все о нем. А коллизия там такая... Ну, короче, читаем дальше.

И как в воду глядел Директор, потому что дальше в транскрипте говорит Одинцову Маша:

– А давайте, мой строгий юноша, мы покажем вам этот фильм. Попрошу супруга, и привезут нам. И мы вместе его посмотрим. Нам в гостиной его покажут. Перед этим еще расскажут, что да как там и почему. Чтобы было нам все понятно. Потому что там непонятно. Мне как раз-то в нем все понятно. Но послушать о нем люблю. Про свободу любви. Атрибут она новой жизни. Новой жизни новых людей. А устои старые рухнули. Обветшали они и рухнули. И не дают больше на нас. На передний план выступает в новой жизни свобода воли. Вы согласны хотя бы с этим? Вам наука не запрещает? А вы сможете, Николай, для такого мероприя-

тия время выкроить? Вам удастся? Вам понятно, о чем картина? Или вы от меня устали? Или я заболтала вас?

Одинцов заверяет Машу, что готов ее слушать он до утра, да и сутками напролет; вот бы слушал ее и слушал. И целует он Маше руку, и уходит в начале первого, то бишь в ноль часов пять минут.

В Кабинете Директор с Хазаром с Половцем дочитали транскрипт до точки, до последней его страницы; по сегодняшнее число проштудировали весь корпус Одинцовых с Машей бесед. И Директор распоряжает паладинам порядок действий:

– Все, Хазарушка и Половушка, начитались, теперя будя. Об искусстве заходит речь. И замечу, что о высоком. Тут потянет и на Шекспира! Хотя не знамо же с вами, други, был Шекспир тот, а, может, Шакспир, или все же он только не был, как и сказано у него в монологе датского принца, мол, *to be* или *not to be*. Может статья, что он и *not*. А *to be*, сдается, граф Ратленд, Роджер Меннерс, за пятым номером, с Лизаветкой, Филькиной дочкой... Ну, чего, братва, пригорюнились? Не об том извилины морщите! Почитаете, наверстаете. А в кино ж все равно профаны. Хватит щелкать тут языком. Закажите в Госфильмофонде мне давайте бегом два фильма. Этот самый об строгом вьюноше и к нему мещанскую улицу. Фильм зовется «Третья Мещанская». Его тоже Абраша сделал. И почти что на ту же тему. Там коллизия... Ну, короче. Самолетом. И киноведа, чтоб был трезвым и не картавил.

Паладины под козырек.

А Директор им наказует:

– Как исполните сей наказ, так бегите срочно под землю и налягте оба на весла, аки греки на тех галерах. Ибо истинно говорю вам, что пора уже бомбе бысть!

Паладины под козырек.

А Директор им как своим:

– А Директору выходной! Прогуляюсь на поводу у капризов Машки-супружницы. Ради общего благоденствия. Только лихом не поминайте!

Три Старейшины обнялись и утерли слезу скупую.

Во Дворце разъясняет Директор для супружницы диспозицию. Человек Директор прямой и не держит камней за пазухой.

Расставляет все по местам, Маша слушает и кивает. Для начала Директор к цифрам: ему, знаем, уже семьсот, да еще вот понабежало, Маше, стало быть, сорок пять, двадцать шесть годков Одинцову, на дворе семь'сят пятый год, завершающий пятилетку, а до бомбы, до завершения, остаются дни и часы. Вот такая картина маслом, многопланова и пикантна, в ней Директору виден шарм, и готов он им любоваться, надо только вкус соблюсти, соразмерность и сообразность, не заляпать бы, не забрызгать красоту картины слюной, ни соплей, ни слезой, ни семенем; надо тут поступить рачительно, и не надо сор из избы. И нелишне осмыслить здесь же всю палитру разнообразий у Директора всевозможностей: волен он в порошок стереть Ворошиловского стрелка, что надумал стрелять глазами не туда совсем, куда надо, вожделения устремил в направлении, неподобном грандиозным державным целям; в порошок бы мог, это раз, но Директору так не любо, скудоумным такое видится в предлагаемых обстоятельствах; мог бы выгнать к херам собачьим, это два, и в тьму-таракань на объект второго значения, только ж там Одинцов загнетса, не протянет там и недели, ну пускай даже двух, и амба; за пределами Солнцедара мрет народец как заведенный, тут все живы, пока все тут, тут живи себе без конца, тут трудись без конца и края, а подашься из Солнцедара, и сгоришь там как мотылек.

– Но ведь ты его не прогонишь? – говорит Директору Маша. – Ты же душка, а не сатрап.

– А я *вот* как раз размышляю. Про себя, про него, про нас. Может, проще прогнать тебя? Чтоб другим неповадно было. А могу и обоих вас, голубков. Намилуетесь там с недельку и юдоль печали покинете, взявшись за руки, как хотели.

– Но ведь ты же так не поступишь? Ты ж не выдашь нас костлявой с косой? Ты ж явишь благородство миру? Потому что ты самый лучший.

И Директор вздыхает шумно, аки кит, однако ж не горько, а только затем, чтоб вдохнуть и выдохнуть; не зря ж в свое время потратил силы и увернулся из-под ума, из-под его топора такого, который рубит подряд все и вся, разрубает на плохо и хорошо, на добро и зло, и вот увернулся, да с паладинами, и вот давно уже,

семь веков, живет по сердцу, а не уму, а сердце все целиком приемлет – во всей полноценной его натуре. И потому Директор ей говорит:

– А, как всегда, угадала, Машка! Решим коллизию полюбовно. Она сама как решать подскажет.

Директора Маша чмокает в щеку. Но то ли будет еще, ребята! На поводу так на поводу. И он раскрывает ей свой сюрприз:

– Летит кино сюда в самолете. Их не одно там, а целых два. Досуг культурный. Готовься, Машка! Большой просмотр! И так подгадал, чтоб нам он в ночь как раз на Купалу.

На шее Директора Марья виснет и звонко, радостно верещит, а он с ней на шее с веранды сходит, и на лужайке валит в траву и досконально овладевает, в усладу себе и в усладу ей, и даже траве, комарам и звездам, на диво всем, кто тому свидетель.

Киноведу фамилия Недотрогов. А по имени Аверьян.

Киновед нещадно картавит, словно вылез на броневик, и разит вискарем с «Диором» от него, друзья, за версту, и имеет внешнее сходство с Эйзенштейном он и Эйнштейном, но зато знает дело туго, на кино он собаку съел – видно, ею вискарь закусывал, – и язык у него подвешен, и картавит им без запинок, познавательного и скабрёзно, и молотит им два часа. Кинозал во Дворце сегодня обустроили на лужайке, тут три кресла перед экраном: в центре Марья, главная киноманка, одесную супруг-Директор, а ошуюю влюбленный, но строгий юноша, Николай Одинцов, лейб-лектор; за их спинами в темноте, затаив дыхание, челядь мнется; обдувает всех ветерок, с неба звезды мигают весело этой ночью им на Купалу.

Недотрогов, как на духу, излагает им про эстетику, про подспудные ее смыслы, про подтексты перипетий в предлагаемых тут сюжетах и в зигзагах жизни создателей; про идею свободной любви, принесенную Революцией, завладевшей тогда умами начинателей новой жизни в ту эпоху раскрепощения и свержения старых пут. Недотрогов трогает многих, всех подряд поминает все; в ход идут Коллонтай с матросом Дыбенко и не только, как видим, с ним; Мережковский с Гиппиус и Философов, Андрей Белый с Петровской и с ними Брюсов; разумеется, Блок Александр сюда со своей Натальей свет Менделеевой и опять же Андреем Белым; Маяковский с Бриками, Лилей с Осипом; Вячеслава Ив́анова, как не вспомнить, с его Лидией Аннибал, там почище,

чем треугольник, там скорее звезда Давида, Маргарита Сабашникова сперва там, а по мужу она Волошина, ей супругом крымский поэт, в Коктебеле по ней страдает; порешили в конце концов жить втроем: Вячеслав, Маргарита, Лидия, но вмешалась купеческая родня, воспротивилась непотребству, под замок они Маргариту, взаперти два месяца держат, когда вырвалась наконец, и Волошина тоже бросила – по духовным соображениям, – место тут сакральной любовницы, увы, занято, не пустует, тут теперь уже Верочка Шварсалон, дочка Лидии Аннибал, вот такие страсти, товарищи, а Зиновьева-Аннибал, мама Веры, жена Ива́нова, в скором времени умерла, и Ива́нов после скандала узаконил их отношения с ненаглядною Шварсалон; говорил, что явилась ему во сне супруга покойная и союз тот благословила; может статься, что и не врал, Аннибал была стойкой дамой; вот такие страсти-мордасти, и стреляли там, и стрелялись; вот Петровская в Белого просто в упор в малом зале Политехнического, только браунинг дал осечку, был подарком Брюсова, кстати, а на самом деле нехстати, из него его юная пассия, поэтесса Надежда Львова, пару лет спустя застрелилась. И так далее, и так далее.

– Тут понять нам главное вот что: их стремление к той свободе принуждало их преступать не одни границы морали, но и жизни самой и смерти. Уяснили, любезные? Ходим дальше. Переходим к сюжетам двух кинолент, что сегодня нам предстоят. Если прежде их не смотрели, я вам просто бело завидую. А подайте, любезные, бедному киноведу, пересохло в горле, глоток чего-нибудь.

И глотнув из стакана, где щелкал лед, и сказав картавое «Благодаг-г-гствую!», киновед продолжил им пуще прежнего. Заострил внимание он на том, что в обеих лентах, тут предлагаемых, режиссер Роом, корифей эстетства, изучает как раз вот *это, это самое*, о чем речь; говоря простым, товарищи, языком, на экране *ménage a trois*, вот такая *полиамория*, в двух трактовках двух разных лет, на Мещанской в 27-м, в «Строгом юноше» в 35-м. На Мещанской там очень просто. Годы нэпа, муж и жена, живут скромно, по-трудовому, быт отлажен, живут опрятно, занавесочки накрахмалены, в доме кот, на окне герань; приезжает к мужу друг фронтовой, он печатник, нашел работу, поселяется с ними в комнате. Эту роль исполняет Фогель, муж с женой – Баталов с Семеновой,

Николай Баталов, дядя Баталова; у героев ленты их имена; фильм немой, и титры дорогие. И Людмиле Владимир нравится, а Владимир в нее влюблен. Но скрывать тут никто не будет, не такие вам времена; открываются Николаю, тот сперва тык да мык, но справился, одолел в себе рудименты буржуазно-царской морали, и теперь будут жить втроем; объясняют себе и людям, что они рабфактовцы, комсомольцы, и любви их ревность чужда. Как сказали, так и живут. А потом Людмила беременна, и становится все запутано; проникает в свободу их отношений вновь мещанское в комнату на Мещанской. И Людмила садится в поезд и бросает своих мужей. Вот такой вот финал открытый, что там дальше, гадайте сами. Виктор Шкловский, его сценарий, в «Комсомолке» заметку выудил, как в роддом к родившей пришли два мужа к ней, два отца, и чей сын, от кого он, они не знают, невдомек им, и им неважно, воспитают его втроем. И Роому это понравилось, и такое вот снял кино. Киновед не велит тревожиться, что раскрыл им финал картины, потому что не в этом дело, тут вся фабула на виду, и в известном смысле, при всей отважности, не она тут погоду делает. Тут искусство не в том, про *что*, а искусство всецело в *как*! Вот за этим *как* и следите. Виртуозный киноязык! Темпоритм тугой как юное тело, вся эротика тут в эстетике, что ни кадр, то шедевр, то картина маслом, увлекательней, чем цветное. Грандиозно подано! Наслаждайтесь. Приятного вам просмотра.

И проектор затарахтел, и экран на лужайке бжил.

И с него замелькали кадры, и пустились сменять друг друга в ярких бликах светотеней, поцарапанных за полвека, но совсем, смотри, не увядших. Там сперва паровоз летел и тащил за собой вагоны, и в распахнутой дверце тамбура там в стекле отражался Фогель с чемоданчиком на Москву, и подрагивал он на стыках, и двоится в тех отражениях как метафора раздвоения между братской любовью к другу и небратской к его жене. Вот такой зачин от Роома, авангард, символизм и прочее. Хорошо все, но больно тихо; с непривычки хуже, чем грохот; ни ползвук с экрана нету, давит на уши тишина; тарыхтит за спиной проектор, в тон ему стрекочет сверчок, и цикады звенят в саду, и комар зудит на подлете.

Прерывает просмотр Директор; это ж просто невыносимо. На лужайку рояль выносят со стаканом с виски со льдом; киновед

Аверьян Недотрогов на банкетку к нему садится и кладет на клавиши пальцы, и кино запускают снова, и совсем же другое дело, и мелькают с экрана кадры под чудные, под несурзные, но под все-таки все же звуки, и комар уже не зудит, а в тапера мы не стреляем...

На шестнадцатом этаже в общежитии на Галушкина всем собранием в тесноте сладко жмуримся; дым столбом. Эти клавиши, эти звуки. Даже хочется облизнуть.

– А скажи, старик, эта Марья, ты ее там толстушкой сделал?

– Угадали?

– Сейчас узнаем.

...Пролетела «Третья Мещанская» не успели и оглянуться, и Семенова укатила, переехала через мост под ажурными его сводами, и просторы ей распахнулись.

Аплодируют все втроем, и супруги, и Одинцов, и таперу, и киноленте. Недотрогову бальзам на душу. Представляет он фильм второй. Говорит им, как на духу, что и тут *ménage a trois*, только менее простодушный, на дворе 35-й год, и подтекстов в ленте немеряно, да таких, что черт ногу сломит, нелегки для раскодировки, до сих пор вот критики спорят и друг друга не переспорят; что касается самого Недотрогова Аверьяна, то признаться он не стыдится, что ему этот фильм – *аркана*, не аркан, который лассо, и не карты в колоде Таро, а *аркана*, что у алхимиков, тайна тайн, секретное средство, но он все же тут постарается изложить, как сам понимает. По эстетике тут античность, и понять, а зачем же так, помогает занятный факт из истории той эпохи, и о нем подумать нелишне; дело в том, что Лени Рифеншталь, кинодама в любимицах Гитлера, передрала в свою «Олимпию» у Роома его эстетику, и конкретно из «Строгого юноши», передрала и преумножила, и прославилась на весь мир, это было, запомним, в 36-м, а с другой стороны, справедливости ради, еще прежде, в 34-м, мы готовы предположить, сам Роом передрал у Лени из «Триумфа воли» ее эстетику, и наполнил ею свой фильм про юношу, из которого Рифеншталь передрала потом в «Олимпию», вот такая вот чехарда, но отсюда нам светит вывод, исходя из такого сходства, что подтекстами у Роома ходит в «Юноше»

нищезанство – превзойдем природу постылую, накуем-ка сверхчеловеков, накуем-ка их да повыкуем, на потребу новой державе, с ними выстроим коммунизм и в Евразии, и повсюду; а в шедеврах у Рифеншталь там арийцы сверхчеловеки, надлежит им устроить фашизм повсюду и прославить фюрера и Германию; не забудем, что в СССР «Строгий юноша» был на полке аж по оттепель при Хрущеве, и сейчас не рекомендован. Никому, кроме тех, кому.

Такой репликой киновед сардонически сдобрил лекцию. Киноведу виски в дугу, и несет его по ухабам, и не страшно ему, увлекся. В том вреда Директор в ночь на Купалу никакого не наблюдает. Пусть потешится шут гороховый. Хорошо играл на рояле.

Шут гороховый приступает растолковывать фабулу от Олеша, а занятие не для слабых, уж Олеша нагородил; вот профессор Степанов, светило он, воскрешает он пациентов и придумал, как рак лечить; жена Маша, артистка Жизнева, она в жизни жена Роома, ей, Степановой Маше, случается при профессоре на экране в белом халате, а вообще неясно, чем занята; в первых кадрах картины заходит в море, нагишом, поплавала и выходит, понимать надо так – Венера, но не хочется понимать так, потому что глаза ж не врут, это вовсе не Боттичелли, а скорее Борис Кустодиев, вот увидите скоро сами; третий угол в этой фигуре строгий юноша Гриша Фокин, идеальный он комсомолец, золотой значок ГТО; сочинил он комплекс новой морали, и теперь его всем сдавать в нормативах для третьей ступени по ГТО; в Машу юноша влюблен по уши, по сценарию, так бы вряд ли.

Расшутился, ишь, киновед.

Говорит киноведу Директор:

– Аверьян, давай покороче! Время позднее. Фильм давай.

Аверьян трезвеет и говорит:

– Сей момент, товарищ Директор! Ну буквально несколько слов.

При профессоре там нахлебник, пережиток раньшего времени, исповедует приживальство, ретроградствует с утра до ночи. Эту роль исполняет Штраух, он потом сыграл Ильича в «Человеке с ружьем» Юткевича и потом в его же картинах много Ленинов он сыграл. Ну а тут он Федор Цитронов, омерзительный, скользкий субчик; дивным образом у Роома, по капризу его эстетики, Штраух выражен Чарли Чаплиным, семенит нелепо, при тросточке, даже

усики налепили, а они же у Чарли с фюрером, как мы знаем, один в один; тут какой-то подтекст заложен, намекает Роом на что-то, вот, гадайте, сколько не жалко, мысли всякие сюда лезут; не играть бы Штрауху Ленина, если б фильм на полку не лег. А профессор, светило наше, он в картине обласкан властью, живет баринком, дом с колоннами, львы в подножье лестницы мраморной, дорогое авто «Паккард», дог пятнистый ростом с теленка, коньяки дорогие, сигары, фрукты, и разъезды по заграницам, по симпозиумам научным, и признание с обожанием, и успехи в любимом деле, да ни в чем недостатка нет; только Гриша нектати Фокин, ходит в дом и не знает меры, от ворот ему поворот. Псылают к нему Цитронова, тот исправно, со вдохновением, сообщает дурную весть. После этого там в картине наступают у всех терзания и немало идейных споров, и про равенство и неравенство, и про то, кто хозяин жизни.

А ровесники Гриши Фокина, как и сам он, чисты все в помыслах, все атлеты, все комсомольцы, скачут даже на колесницах, а не только метают диски; их тела подобны античным статуям, те на каждом шагу в картине, чтобы зрителю знать, с чем сравнивать, а напор молодых людей, их задор, их грезы, их пластика, это чистая экзистенция – побеждает все неживое. Вот и Маша в конце концов отвечает смелой взаимностью на любовь к ней строгого юноши, ходят городом, взявшись за руки, на мосту потом поцелуй. И профессор, отрешившись, признает за каждым свободу, признает, что в новой истории все прекрасно и удивительно, надо в ногу с нею шагать, не скупиться ничем, не тужить ни о чем.

И проектор затарахтел. «Строгий юноша» на экране. Производство «Украинфильм» (Киев) 1935 г. Мрамор лестницы, без людей, в ярком солнце слепит с экрана. Натюрморты сквозь кисею; ветерок кисею колышет. Обнаженная Ольга Жизнева входит в море под ярким солнцем, забегает в него, плывет, к горизонту, потом обратно, по блестящей глади круги бегут; на пустынный берег ступила, халат накинута, возвращается в дом с колоннами и со львами внизу у лестницы; здесь в теничке огромный дог, столик с зонтиком на траве, и в плетеном кресле нахлебник дремлет; подъезжает «Паккард» с профессором; и поехало, понеслось, звуки музыки, взгляды долгие, со значением, и слова на фоне литых решеток

в завитках и решеток кованных, с завитками, по-кружевному, громко сказанные слова, каждый четко их произносит, все несут прекрасную чушь, по сценарию, по сценарию, и до самого так конца. Незадолго перед финалом на мосту говорит Маша Грише:

– Я хочу предложить вам одну идею... Можно?

Отвечает Гриша:

– Давайте.

Вот в картине слова последние. Поцелуй тут и дальше молча. И спустя неизвестно сколько прибегает от Гриши Маша, и профессор супруге рад, они оба рады друг другу, взявшись под руки, вверх ступенями поднимаются к себе в дом. На экран всплывает КОНЕЦ.

И в смятении души зрителей.

– До чего же он на тебя похож, – говорит Директору Маша...

И у автора, сочинившего эту странную эпопею, для читателей в этом месте как раз фото припасено. А сейчас он своим покажет.

– Это Юрьев в роли Степанова.



- Это он у тебя Директор?
- Ты уверен?
- Не перебор?
- Полагаю, все в абажуре.
- Если вдуматься и не ныть?
- Сладко жмуримся всем собранием.
- Поздравляем! Тебя цитируют.
- Потянуло в постмодернизм?
- Не иначе. Во всей красе!
- Сам как думаешь, что за метод?
- За углом пока. Без названия.
- Ну тогда тебе в добрый час!
- Да, старик, в добрый час, погнали!

...И Директор в «Безумцах» ей отвечает:

- На меня похож? Ну тебе виднее. А вот ты и вправду с ней как близняшки. Николай, давай поддержи. Ты заметил, какое сходство между нашей Машей и той, ненашей?

Одинцов согласен, что да, то да...

И у автора для читателя есть и тут на что посмотреть.

- Ольга Жизнева в «Строгом юноше» в роли Маши. А? Какова! Не убавить и не прибавить:



И собранию вновь потеха.

– В самом деле при телесах!

– Так мы все-таки угадали?

– И сто раз Недотрогов прав. Про Кустодиева он в точку!

– Это что ж за мымра такая? – вопрошает жуец сигары, тот, кто с нами кино не видел, потому как с утра болел. – Только шляпа и хороша. Киновед ничего не выдумал. Это ж надо с такой мордахой!

Всем на радость – прозрел товарищ. А жуец сигары собранию излагает, как на духу, нам про то, что, если вот это, что он видит перед собою, там у них предметом раздора, так он знает, о чем кино, и не надо всем киноведам ломать больше своих им копий, потому как вот она, эврика! Там про то, что любовь, люди, зла. И не просто, как видим, а очень зла!

Посмеялись, выпили, дальше слушаем.

...А у автора там в «Безумцах» Одинцова Директор с Машей убеждают теперь в два уха в его сходстве с героем фильма, и пускай на экране Дмитрий не тот, а другой там, поплоче, пускай Лжедмитрий, только сходство же не отнять, и по облику, и по духу, просто даже невероятно, просто вылитый Одинцов. Одинцов аж взопрел, пока фильм смотрел, пока фильмы они смотрели, а теперь вот и снова преет, пунцовеет и багровеет, и смущен он происходящим, и предчувствием он томим, и страшится своих предчувствий, и не знает, что дальше будет, и не знает, как ему быть; соглашается, что похож; может, этим и обойдется.

Киноведа с киномехаником упаковывают в «Паккард», это шутка, пакут в «ГАЗик», и везут с ветерком на аэродром, чтоб поспеть их к утру в столицу.

Над лужайкой мерцают звезды, и звенят цикады в саду.

Челядь спит давно, у кого нет дел, а Директор, Маша и Одинцов угощаются и беседуют за столом в гостиной под яркой люстрой; угощаются разносолами, а беседуют об увиденном. Избывают катарсисы, чтоб не лопнуть.

Одинцов все больше молчит, он беседой смущен изрядно, все впервой ему в той беседе, только мямлит, когда нет выхода:

– Ну вы скажете! Тоже скажете! Ну вы, право, скажете тоже!

И смущается еще больше.

А Директору с Машей не привыкать, повидали всякого на веку; на своем веку, стало быть, она, ну и он, стало быть, на своих веках. И цинизм Хозяина Солнцедара и супруги его гинеколога, он здоров их цинизм, как сама природа, как движок истории от Творца, внеморален и сокрушителен.

И Директор им говорит:

– Если Маша чего решила, то уже так тому и быть. И не нам с тобой, Николай, увернуться от неизбежного, неизбежному воспротивиться. Нам с тобой, Николай, назначено ее прихоть признать уместной, не чураться, а подналечь, в грязь лицом не ударить, Коля, нам с тобою в ночь на Купалу. Ну а после уже поживем – увидим. Понимаешь, куда веду?

Одинцов сослался на недосып, от него голова, мол, кругом, не привык он бодрствовать за полночь, образ жизни ведет здоровый, потому в догадках теряется – и куда же ведет Хозяин.

– А я, Коля, тебе скажу, чего тут миндальничать. Вот допьем сейчас, доедим, и приступим сразу же. Ублажим с тобой Машу, как полагается. Не за страх, а за совесть! Чтоб знали наших.

Полчаса строгий юноша кашляет, поперхнулся; отдышавшись, на то ссылается, что он девственник, очень занят, то лапта, то бомба, то то да се, не сыскалось времени, чтобы с кем-нибудь хоть разок, потому в гостях он сейчас робеет, что не справится с предложением.

– Вот так раз! – дивится Хозяин. – Это как же? Скажи нам просто. У тебя стоит или не стоит?

– Если правильно я вас понял, то отвечу. Не импотент.

– Точно, Коля? Ты же не пробовал.

– Я не пробовал с женщиной, и ни с кем, тут вы правы. А сам я пробовал. Да и пробую. Каждый вечер же. Перед сном. И не жалуюсь, руки сильные.

– Бедный мальчик, – сказала Маша. – До чего ж вы строги с собою.

– По-другому тогда спрощу, – говорит Одинцову Хозяин. – У тебя на Машку стоит? Или старая? Или толстая? Отвечай, Николай, как есть. Не до шуток, вопрос серьезный.

Одинцов не верит своим ушам и смущается дальше некуда.

А Хозяин к нему на помощь:

– А давай покажи, Николай, чего тут. Вынь давай да положи. Вот и весь ответ. И чего тут мямлить.

– Просим, просим, – сказала Маша. – Уж вы Папе не откажите. Покажите, Коленька, покажите!

И собрав всю волю в кулак, комсомольцы не отступают, Одинцов поднялся из-за стола, повернулся к зрителям передом и готов был исполнить просьбу, чего б это ему не стоило; но однако же в сей момент, как бывает, случилось вот что: под напором с натиском в его брюках от ширинки пуговка отскочила, да с такой отскочила силой, что хватило на рикошет; лупанула по старшинству, сперва в лоб Хозяину, отскочила, и супружнице тоже по лбу, отскочила, и Одинцову залепила промежду глаз; и все трое свалились замертво на восточный ковер в гостиной; ну, не замертво, разумеется, это красное лишь словцо, а всего-то отшибло паморок...

В этом месте в том феврале автор сам себя прерывает, чтоб излить собранию душу, все ж свои и должны понять, как его подмывало, когда писал, в этом месте их всех и бросить, Одинцова и гоп-компанию, на читателя – пусть гадает, что там дальше; устал писать и готов был поставить точку; но у автора, знаем, совесть, с ней непросто, но что поделывать, и, сцепивши зубы, писатель, вопреки зеленой тоске и постылым уже героям, все ж доводит нам свой рассказ до той точки, что Бог назначил, по всем правилам для пилотов при посадке ночью на палубу.

– За писателя?

– За писателя!

...Оклемались; ковер восточный уберег всех троих от любых увечий; помогли друг другу подняться, и к столу, и опять беседуют.

– Вот так так, – говорит Хозяин. – Наш ответ Чемберлену, ни дать, ни взять! Вот так натиск с напором, Коля! Да с таким напором и натиском ты тревожился, Коля, зря. Как с таким, чтоб не получилось! Вот достанется ужо даме нашей! Не боишься, Машенька, что не сдюжишь?

– Вот здоров, Папуля, смущать вопросами! Не смущай, а то в краску вгонишь. Двести лет уже не краснела. Вы краснеете, Николай?

Одинцов польщен, его прыть признали, но тревожит его другое:

– А нельзя ли, Хозяин, Маша, раз уж так, как вы говорите, чтоб я с вами, Марья Степановна, все ж сперва остался бы сам? А потом уже как получится.

– А нельзя! – говорит Хозяин. – Или вместе, или никак! Вот удумал же! Не подумал? Это ж грех тогда, а не праздник жизни. Ты мотай, Коляня, на ус. И завязывай целку строить.

Заступилась Маша за Одинцова:

– Он боится, Папик, тебя. Вы не бойтесь его, он добрый. Он премирует вас потом. Ты ж премируешь его, правда?

Говорит на это Хозяин, говорит на это Директор, говорю им на это я:

– По трудам, ребятушки. По трудам.

И еще им тут добавляем, что бояться глупое дело, потому что тот, кто боится, не достигнет высот в любви. Успокоили, как сумели. Хватит слов, приступать пора. Скоро станет светать, пожалуй...

– Да, пожалуй, – и мы согласны в общежитии на Галушкина на шестнадцатом этаже, где за окнами вьюга свищет. – И у нас тут скоро рассвет.

...И Хозяин с Машей и Одинцовым на лужайку выходят под звезды в ночь, и сверчок им в траве стрекочет, и звенят цикады в саду. Я шепнул Одинцову на ухо, доверительно, чтоб взбодрился, что наемни на этой травке брал я Машу по-богатырски, так, что жмурились, значит, звезды.

– Вот и ты давай не тушуйся. Чего стал? Скидывай портки.

Обнажились Хозяин во всем величии с комсомольцем во всей красе.

– Не сачкуй, Николай. Работаем. В два пистона, в четыре лапы.

Одинцов кивнул в знак согласия, вскинул руку, одну из теперь четырех, и отдал пионерский салют.

Приступили они тут к Марье и стащили с нее одежды, и в четыре руки облапили; стали лапать ее за все. Только вдруг испугалась Марья, громко взвизгнула, оттолкнула, они к ней, а она от них, они к ней, наутек пустилась, ну, иди пойми этих баб; может, мышь в траве, может, блажь в башке, может, шило спереди или сзади. Делать нечего, брат, в погоню. И пустились за ней догонять, но никак догнать не выходит, ни в саду, ни в рощице за лужайкой, ни вокруг озера в ивняках; запыхался уже Хозяин, семь веков как никак, не юн уж, Одинцову же ноги ватные от избытка страстей-мордастей не дают бежать, заплетаются; так ловили б и до утра, не собак же за ней пускать, не охрану ж кликать, дело ж именно, что семейное, как сказал им там киновед? ménage, сказал, а trois? но не больше ж; значит надо подкараулить, применить военную хитрость в сочетании с пионерской; изловили все-таки Марью, и не где-нибудь, а во чистом поле в стогу, где она от них скрыться думала. Навалились, уж навалились, так прижали – не продохнуть, а она голосила и вырывалась.

– Отпустите! – кричала. – Пустите! Не то придумала! Не хочу так! Не надо! Я передумала! Отпустите! Раздумала! Не хочу!

– А вот как бы не так, – говорит Хозяин. – Назвалась груздем, так полезай.

– В самом деле, Марья Степановна! – Одинцов согласен с Хозяином. – Зря мы, что ли, полночи гнались за вами?

Тут слетелись над ними в небе, закружились три вертолета, и на каждом вспыхнул прожектор, а по полю со всех концов погранцы в секретах из тех секретов из своих фонарей пустили лучи, и уперлись лучи отовсюду в стог и слепили теперь в глаза.

Напор сдулся, натиск поник; захлебнулась у них атака.

– Мы у всех на виду, Хозяин?

– В Солнцедаре все у всех на виду.

– Даже дома под одеялом?

– Вот представь себе, Коля, даже.

– На лужайке?

– И на лужайке.

– Во Дворце?

Хозяин кивнул.

– В Кабинете на Комбинате?

И опять Директор кивнул.

– Всюду, Коля. Мы же не просто. Мы ж с тобой Солнцедар-Семьсот.

– Как же быть нам? Так не могу. А, признаться, уже хотелось.

– Молодца, Одинцов! Ты не бздо, Коляня!

И на то Директор директор, и на то хозяин Хозяин, я на то тут, чтоб не тужить, щелкать трудности как орешки. Говорю Одинцову с Марьей:

– Знаю я тут одно местечко. Только что вот сообразил! Не подглянет за нами там ни одна душонка паршивая.

И Директор пальцем сманил к себе вертолет; и под белы руки нагую Марью заволок с Одинцовым в его нутро, повелел куда путь держать. Взмыли в небо, светает за полигоном; тарыхтит нутро, жаром дышит; Марья стихла, к пилотам жметя; дрожат звезды как слезы, сморгнешь – покатятся. Прилетели на Комбинат, присели на крыше; и под землю секретным лифтом; пока в лифте, насели опять на Марью, и она признала за ними силу, и за силой признала право. А в цеху номер раз воеводят Хазар и Половец; все гребут у них как галерные, головы гребцам не поднять.

Энергичным шагом, взявши их за руки, Одинцова с Марьей ведет Директор и подводит к Красному Конусу, и заводит их в Красный Конус.

– Здравствуй, Конушка, здравствуй, Красенький! Привечай, головушка, дорогих гостей.

Благо заново раздеваться этой троице не приходится, все одежды спят на лужайке, и прелюдия не нужна, сколько можно, это во-первых, а второе, в лифте же тискали, провели на Марье прелюдию от и до, и от до до от; хоть и быстр лифт, но долго ехал, глубоко они под землей.

– Это что за шатер прекрасный? Скажи, Папик, раскрой секретик.

– Красный Конус. Сама не видишь?

– И зачем же он тут такой? Неужели твой дом свиданий?

– Оболочка боеголовки. Без начинки пока, изволь. Скоро будет ему начинка. Со дня на день. Да, Одинцов?

– Так точно!

– Вольно! А сегодня мы тут ему начинка.

– И что, правда, что нас никому не видно?

– Вот представь, на старуху проруха. Вот представь. Слепое пятно. Зато мы тут зрячие с вами. Как она тебе, Николай? Не натискался, вижу? Тискай. А как он тебе, Марья? Не чересчур? Ты таким его себе представляла в вожделениях перед сном? Соответствует? Превзошел? Дашь ему? Или ну его?

– Снова в краску вгоняешь, да? Ты не спрашивай. Сам увидишь.

– А какого ты бегать вздумала?

– Ох, не спрашивай. Черт попутал. Навалилось все как-то вдруг. Озарило и затуманило. Эти фильмы! Еще обсудим. Куда стать мне тут? Или лечь?

– Лечь тут, Машка, особо негде. Так что стань-ка давай сюда-ка. Так сюда-ка и становись.

– Обожаю таким сюдаком. Благодарна вам, что догнали. Папик, я тебя обожаю. Обожаю вас, люди добрые.

– Ну что, Коля, покажем, на что горазды? Ты оттуда, а я отсюда. С двух концов, посередине Машка. И не вздумай спрыгнуть до станции. Так горазд приступить? Поехали!

Понеслось; вприпрыжку, подскок на стыках, пыхтят слаженно и натужно, когда в гору, когда подъем, а под гору со свистом, с уханьем, воем ветер по всем щелям, из-под век прикрытых сыпят искры, а из пор на коже струится пот; за пределами Конуса мир исчез, он притих сперва, отодвинулся, а потом взорвался и был таков, и остались только они в оболочке боеголовки, представители гомо сапиенс, их там трое, самцы и самка, вовлеклись в тройное соитие, самцы с самкой совокупились, и она меж ними трепещет, а они в ней всю соитствуют, доставляя ей наслаждение, и им тоже перепадает по закону обратной связи; их трудами замкнулся контур, изначальный, дохристианский, возродилась и преумножилась ярость древнего ритуала, одолев обветшалости, новомодности, уроборос опять ухватил свой хвост и замкнул собой связь времен; и вдавилась красная кнопка «Пуск», Красный Конус признал начинку и приладил себя к носителю, и в полет себя стартовал, не по цели, а просто так, на орбиту вокруг планеты, чтоб описывать там круги безо всякой конкретной цели, может статься, для удовольствия, может статься, что просто так; и те трое в боеголовке вершат квантовый переход, не скачок

он там, переправа, совершают и переходят, переходят и совершают, и летают над нами с вами, и оргазму их вечно быть...

В этом месте его рассказа нам рассказчик пишет о том, что не вынудили б его продолжать писать аж досюда, аж до этой унылой точки, так и горя б себе не знали, а расстались бы с персонажами прямо там, на отшибе паморок, том, что пуговкой от ширинки, на большом восточном ковре, и гадали б в свое удовольствие себе дальше, сколько захочется. Но! Довлеют законы жанра, черт побрал бы эти законы, и пришлось ему изголяться и занудствовать в разъяснениях, тянуть нитки из узелков, а они, ребята, не тянутся. Ну, ребята, за что боролись...

Солнцедара Хозяин в боеголовке он давно не хозяин там, а мужчина преклонных лет в превосходной спортивной форме и с добрым сердцем; строгий юноша Одинцов там не строгий, а просто Коля, чемпион в лапту, покладистый малый, улыбулась ему удача, вот избавился наконец он от девственности постылой; и меж ними женщина средних лет, получившая двух мужчин, обожаемого супруга и к нему в подручные молодого, ни дурна собой, ни красавица, но зато при прыти, бойка, завзята, и умеет охать с таким задором, что вам, братцы, не передать; все прилежны в своих трудах, заключили, под стать уроборосу, свой оргазм в охапку надежную; ждут, когда их на Землю спустят, чтоб втроем о кино беседовать.

Вот такие дела, ребята.

А наутро жители Солнцедара, пробудившись, не обнаружили ни себя и ни Солнцедара, ни гудка им тут с Комбината, пробудились от тишины, ходят-бродят, себя не находят, и не видно их никому; ничего, никого, обелиск в степи неизвестному испытателю, тут костер горит кочевой, у костра Хазар, рядом Половец, пар струится над казанами, в отдалении кони ржут.

– Слышишь их? – говорит Хазар.

– Кони ржут?

– Не дури, Полова.

– Наверху там? Бывает слышно. Хорошо Машенция охает.

– Это ж надо же! В невесомости!

– А где наша не пропадала?

– А как думаешь? Воротятся?

Размешав уху в казане, пожимает плечами Половец.
– Знаешь, Хаз? А хули об этом думать...

Фух.

И можно не расставаться.

Рассвело, и пора на Курсы. На трамвайчик под общежитием, доведет до ВДНХ. На метро и до кольцевой, а по ней уж до Белорусской, и сквозь ветер и снегопад в дом родной на Большом Тишинском.

Там покажут еще кино.

